

Дмитрий Пригов

ПОМИРИСЬ СО СВОЕЙ ГОРДОСТЬЮ, ЧЕЛОВЕК

Выражая признательность фонду, посчитавшему меня достойным сей многозначительной премии и всем принявшим участие в организации и просто пришедшим на это торжество, при всем при том чувствую некую отдельность, то есть отделенность личного человеческого участия в этом акте (идентифицируемого, скорее, с совместным взглядом из глубины этого притемненного зала на персонажей этой сцены, являющей собой как бы культурную сцену вообще, так вот, чувствую некую раздвоенность личного простодушного участия с неким невменяемым творческим паки-бытием и культурно-поведенческой прохладно-рефлексивной естественной вовлеченности в разного рода расчеты, соперничества и пр. и пр. и пр. Скажу вам вещи банальные. В сумме всего этого положенного на временную последовательность их драматургии каждый обречен на свою премию. И я добавил бы, что слабыми разноправленными силами этих составляющих души невозможно что-либо просчитать наперед, тем более за других, и уж совсем – за себя.

Я говорю банальные вещи.

Самое неприятное, и даже опасное, в нашей ситуации – это ощущение чужой обязанности (что, конечно, приятно предполагать), общей подлости (что, кстати, не может быть исключено), собственной обиженности (что ощущается и на самых сиятельных вершинах власти и успеха), собственной обойденности, недоданности, предполагающее даже неоговариваемое знание истинности сотворенного своего и чужого, единообразия и прозрачности человеческого бытия и его эстетической метрики, непризнание которых признается за сознательное злодейство, либо недопонимание, что тоже есть преступление против самоочевидной истины.

Ясно, что это вещи банальные, хотя для простоты и быстроты изложения очищенные до некой памфлетной схематичности.

Так вот, из этого впрямую вытекают и взаимные должествования: писателя-художника – знать истину (то есть предполагается, что по определению уже обладает этим) и объявлять ее, а люди, народ должен ценить и любить писателя, через которого эта истина явлена для них как самоочевидное.

Да что я утруждаю вас этими банальностями, вы это все и сами знаете из пушкинской речи (вот! вот! вот она обнажившаяся стратегическая завязка моего говорения: пушкинская речь – пушкинский образ – пушкинский культ – пушкинская премия! воспадение временной последовательности в последней точке, дающей слипание, остановку! все! все! конец и победа! и ничего! и впредь бередищий, брезжащий новый свет и нынешнее невежество! о, Господи, мне столько лет чахнувшему над фантомом Пушкина – такой подарок!), так вот, что я вас утруждаю банальностями, вы и сами все это вычитали из пушкинской речи Достоевского, где все это артикулировано с абсолютной чистотой и с тех пор стало общим местом и модусом существования русской литературы и русского литератора.

То есть если интерпретировать в моей квази-научной терминологии, в сфере нашего культурного менталитета, массового сознания и в области социо-культурного поведения и жеста Достоевский описал и конституировал своего мучительного альтер эго – Великого инквизитора – в котором жалость победила любовь. Жалеть можно живых существ, а любить можно тело и дух, идею и свободу. Это и есть отличие социального реформатора от мудреца и художника.

Я повторяю, что мои описания конечно же суть некий порожденный монстр банальности и схематизма. А кто противопоставляет что-либо другое?! кто? ты? ты? – вот то-то.

И последнее, самое необязательное, но мучающее меня во всех своих аспектах и проявлениях: метафизическом, гносеологическом, космологическом, культурологическом, социальном – каком еще? ах, да – антропологическом – что есть свобода? То есть что есть миссия художника? И подозреваю, что миссией художника является свобода, образ свободы, тематизированная свобода не в описаниях и толкованиях, но всякий раз в конкретных исторических обстоятельствах конкретным образом являть имидж свободного художника, инфицировавшего себя свободой со всеми составляющими ее предельностями и опасностями. В явлении чистоты миссии и есть нравственность художника, сложносочетаемая человеческой и гражданской нравственностью, как впрочем миссионерская нравственность иных служений соответственно их призванности. Конечно, конечно, это будут вполне банальные добавления, но я все-таки добавлю, что как образ художника, так и его культурно-оформленное, культурно-постулированное и культурно-осознанное поведение состоит из невиданного числа компонентов его человеческого состояния и институционального статуса, но именно артикуляция свободы (во всяком случае в наше время) является точкой, стягивающей на себя все остальное и являющей через себя все остальное. Вроде бы, понятно

выразился? Ну, конечно, конечно же я не о битье морд и непризнании правоохранительных органов (к милиции у меня как раз традиционно особое пристальное внимание и мифо-тематическое пристрастие, любовь даже).

Именно поэтому и даны художнику, вернее определены ему и он определен в сфере языка и языков, события в пределах которых трансформируемы в большую жизнь только посредством нескольких охлаждающих операций.

Естественно, естественно, все так размыто и неясно! все сдвинуто и перемешано! все переложено страстями и порывами чистыми и не очень чистыми, и очень нечистыми, и совсем, совсем нечистыми, нечестивыми даже! Но говорить все-таки приходится – да все и говорят. И мы скажем о некоем идеале, конечно, о некоей экстреме, в свете приближающегося конца света – нет, нет это в узком смысле, конца света великого русского литературного менталитета (мы не оговариваем всей суммы причин этого, далеко превосходящих узко-литературную область их конкретной артикуляции). Но великий русский писатель уходит, вернее, всеписатель вместе с великим русским всечитателем. Он уходит, имя которому Пушкин-фантом-Достоевский, в сокращении ПФД (естественно, и другие тоже – Толстой, например, или Чехов, а что Лермонтов нельзя? – можно! или нельзя Гоголь? – можно! или Горький? – можно! можно, но не будем усугублять, да и не уходят, а просто переходят в другую культурную нишу), так вот, уходит ПФД, уходит. Мы смотрим вслед ему и говорим:

Прощай, родной, ты нас родил
От связи с слизию земною
Идешь! идешь! ушел! – но мною
Инорожденный взговорил
Голос твой
В следующей уничиженной инкарниции
За грехи наши общие кармические